

Измайлов А.

Бесовские арабески: (Литературный портрет А. Ремизова)

Источник: Биржевые ведомости. 1911. 15 сентября (утр. вып.). № 12531.
С. 3; 16 сентября (утр. вып.). № 12533. С. 3

Бесовские арабески

(Литературный портрет А. Ремизова)

I.

Что есть талант?

Психологи копаются в этой загадке, перетряхивают законы наследственности, роются в учебниках психиатрии. Пламенное сердце должно быть помножено на исключительный ум, на особенно тонкую наблюдательность, на особенную память, на особенное воображение, на какую-то еще умственную дерзость, толкающую сказать то и так, чего и как не скажет стереотипный человек.

Однако не знаем ли мы великие таланты с совершенно холодным сердцем? Не знаем ли поэтов, которые были прекрасны и так-таки положительно неумны – не неучены, а не умны, писали вялые романы, наивно рассуждали и были ординарны в беседе. Великая тайна, великий каприз!

Есть авторы, у которых одна черта, один фактор, обычно входящий в талант, выступает как-то оголенно, отрешенно, одиноко. Один он налицо до полной несомненности. Его нельзя ни замолчать, ни просмотреть. Он – факт. Но трагически отсутствуют те другие факторы, которые делают человека особенным, не таким, как все, – талантом. Так, повару из одной курицы не сделать жаркого. Нужны соль, масло, сковорода, наконец, огонь.

Ремизов – писатель, которого природа сотворила для писательства, но, наградив, и обделила. Он любит жизнь, любит самый процесс писательского наблюдения. Любит русский язык, любит до юродства, до кликушества, роется в библиотечной пыли, перетряхивает скучные академические издания, выискивая словечко, оборот, поговорку, прибаутку. Как пчела, собирающая мед, он не гнушается ничем, – ни народной запевкой, ни словечком деревенского ухаля, ни преданием старинной рукописи, написанной полууставом, ни анекдотом, выловленным в сегодняшней газете.

II.

Славная записная книжка должна быть у Ремизова, – толстая, оттопыривающая карман, исписанная вдоль и поперек! Пестрая она, эта книжка, типично-русская, точь-в-точь та, что были у наших старых помещиков, валивших туда в одну кучу и запись о рождении сына Валерьяна, и отметку о появившейся комете, и новую балладу Рылеева, и посвящение к «Кавказскому пленнику», и средство выводить мозоли, и рецепт лучшего изготовления глинтвейна.

Все было в этих книжках и все по-своему интересно на своем месте и в свой час. Порыться действительно приходилось, но зато в результате труда

непрерывно выяснялось, в каком году и на какого святого родился сын Валерьян и чем выводить пятна с шелка.

Природа наделила Ремизова прекрасною в этом смысле писательской цепкостью. Такою хваткою в высочайшей мере обладал у нас Лесков. Где только он не выуживал жемчужин на украшения своих книг, и в раскольничьей рукописи, и в живом говоре, и в закапанном воском Прологе, и в дневнике старого генерала, и в святой книге, и в грязи! У величайших наших мастеров лексикон не богаче, чем у Лескова. И так же, как слова, он ловил анекдоты всех сословий, русское остроумие, русскую пословицу, русское меткое слово.

Но Лесков был и яркий, и могучий, и цельный талант. Наградив Ремизова наблюдательной цепкостью, судьба отказала ему в даре синтеза, в живом воображении, в мастерстве создавать художественное целое из мелкой цветной мозаики.

Нигде трагичнее не сказывалась эта особенность Ремизова, как в «Крестовых сестрах», большой и едва ли не самой серьезной его повести. Долго, может быть, годами, Ремизов собирал по зернышку материал для повести из жизни огромного петербургского дома-муравейника, дома-клоповника, где ютится всякого рода столичный люд.

Сюжет, в сущности, ударяющий вплотную в сюжет левитовских «Комнат снебилью», «Грачевок» или «Московских девственных улиц». Единственное, что удавалось Левитову, но зато уж так удавалось, что можно больше десяти лет не брать его в руки и видеть эти бурые унылые дома, глубокие, как колодцы, дворы, с четырех сторон огороженные пятиэтажными домами с «экипажным заведением Трифона Рыкова», с вывесками, на которых намалеваны прачки с утюгом, с дерущимися мастеровыми, старьевщиком-жидом, с пропившимся ротмистром Бжебжицким.

Другая раненая русская душа, Глеб Успенский, оплакал эти дома и этот горемычный люд. И в жутких тонах коротко и мимоходом, но с истинным волшебством литературного Куинджи зарисовал их Достоевский в воздухе и на фоне мозглых осенних вечеров или белых ночей.

III.

Ремизов определенный статик. Он мастер описывать и почти не умеет рассказывать. В «Крестовых сестрах» нет никакого движения, если не считать таким движением хождение его героя, банковского чиновника Маракулина, туда и сюда по двору своего дома, по петербургским улицам, в тоске созерцания всей той горькой жизни, которая влачится тут в огромном ноёвом ковчеге.

Маракулина выгнали со службы, и вот, бездельный и обиженный, он наблюдает всю эту жизнь, ищет виновного во всей этой кошмарной нескладице и, не найдя его, но наоборот – придя к мысли, что «никого нельзя обвинивать», кончает с собою, выбросившись из окошка с высоты пятого этажа.

Сказка жизни самого Маракулина укладывается в эти пять строк, но на расстоянии полтора ста страниц своей повести Ремизов раскрывает перед вами всю конторскую книгу Буркова двора. Пришлось бы занять целый столбец одной номенклатурой, если захотеть просто перечислить всех тех, кого он описывает.

Тут и сытая генеральша, даром переводящая хлеб на земле, и богомольная купчиха, и цирковой клоун, и хозяин дома, генерал Бурков, и доктор, лечащий рентгеновскими лучами, и сектант Горбачев, и хозяйка меблированных комнат, и богомольная купчиха, и молодая девушка Вера, мечтающая о курсах, и другая Вера, ученица театрального училища, надеющаяся стать большой актрисой, и третья Вера, подросток лет пятнадцати, живущая на кухне.

Добросовестно, старательно, подробно Ремизов выписывает каждую фигуру своих жильцов.

«В семьдесят восьмом – акушерка Лебедева. У акушерки в рождественский пост шубу зимнюю меховую украли...»

«В семьдесят седьмом одно время жили два студента, на вид состоятельные и одевались они и т. д.»

«На место студентов в семьдесят седьмом поселились артисты, два брата Дамаскины и т. д.»

Встают мельчайшие детали характеристик. Вы узнаете, кто был отец и кто мать Веры Ивановны, и в каком городе они жили. То же и о Вере Николаевне. То же о Маракулине. То же и о друге Маракулина и товарище детства Плотникове. На всех парах действует записная книжка. Описывается, например, сумбур обычного дня в Бурковом дворе, и вы видите, как на одной странице пять раз разворачивается книжка, поставляя комический материал, написанный в разные сроки.

«У акушерки Лебедевой украли деньги из чулка. Чулок остался, а денег не разыскали».

«Пекарь лег спать над квашнею и утонул в ней. За ночь-то его и засосало, хватились на утро, а уж только одни ноги из квашни торчат. Хороший был пекарь Ярыгин».

«Паспортист Иоркин откусил нос конторщику Станиславову, а рыжий губернаторский пес Ревизор откушенный Станиславов нос съел»...

«Сам Бурков, возвращаясь из гостей, забыл на извозчике яйцо и заявил полиции об его розыске»...

«Играли ребятишки в военный суд и приговорили швейцарова сынишку к смертной казни через повешение. Повесили его в сарае, так что едва его отходили».

Десятки, сотни, тысячи мелочей мелькают перед вами. Три Веры путаются в представлении. А Ремизов подсыпает и подсыпает комические черточки из своей записной книжки, как те провинциальные анекдотисты, которые заряжают себя на три часа кряду и все еще воодушевленно говорят, хотя слушатель повергся уже в полную протрацию.

IV.

Все порознь смешно или трагично, верно, действительно было в полицейских отчетах, в газетной хронике. Но с работой Ремизова случается то, что бывает с мозаичной картиной, когда ее смотришь слишком близко. Каждая клеточка, каждый спай берут внимание. Какой-то таинственный дух, который должен слить, спаять, обобщить эти красные, синие, черные клетки в одно творческое создание, – куда-то отлетел. Целого нет. Так нет целого у Ремизова. Точно видишь черновик его повести, где на каждой странице подклейки, над каждой строкой – вставки.

Что трагично для Ремизова, это – то, что он – писатель-эклектик не только в этой бытовой стороне, но и со стороны идей, и со стороны манеры. Сейчас он весь под влиянием Достоевского. Вот вдруг послышался Лесков. Вот точно заговорил своим, немножко искусственным, «сдобным» языком, Мельников-Печерский. А эти тона ужаса и безумия, – не от Гофмана ли они и не от Эдгара ли По?

Ремизов относительно молод. Может быть, время принесет ему большую в этом смысле самобытность. Пока о нем можно говорить как об авторе очень своеобразном, – таком, которого можно узнавать с десятка фраз. Но о действительно писательской самобытности его пока не может быть речи.

Нельзя не оговорить, что самый язык Ремизова крайне прихотлив и изыскан. Один критик взял на себя труд исследовать его грамматику и синтаксис и дал такую страничку:

Глаголы: взгорькнуть, утивать, наворзать, захряснуть, ахлять, скорябать, подзатылнить, надзынуть, набуркаться, затаращить, сподговаривать, прособачить, дубастить, нудить, безумить, отемнеть, пьавить, посмутить, перхать. Существительные: охаверник, шкамарда, омег, плеха, хряпка, плешняк, елдырник, ера, шкулепа, гундырка, глуздырь, шишимора. Причастия и прилагательные: обрадованнее, обузнее, нечастобледная, неотщипаемая, переплаканные, внепрепонный, переманчиватый, истухшие, обдрыпаный. Наконец, отдельные перлы синтаксиса и стилистики: на стук забеспокоился, пырял в пустошку, перекричать долбню, звонны дымились, звезда стучала, миг синий, зашибало смекалку, брюзжала лампочка, лицо оголтелое, природная отклика, звезды закишели на небе, деревья заглядывали худыми лицами, желудочно-писклявый голосок, визг плевал в лица, слепое железо, чарая полночь, необъявное безвыносное слово. (Бурнакин).

V.

В Ремизове есть многое, что позволяет надеяться на осуществление этой надежды, надеяться увидеть его самобытным. Можно обвинить его в чем угодно, но не в шаблонности, не в стереотипности. У него оригинально все, начиная с внешнего облика. Он оригинален как человек, и это уже не новость для печати. Максимилиан Волошин, со свойственной ему причудливостью и капризностью манеры, однажды так живописал внешность Ремизова.

«Он напоминает наружностью какого-то стихийного духа, сказочное существо, выползшее на свет из темной щели. Наружностью он похож на тех чертей, которые неожиданно выскакивают из игрушечных коробочек, приводя в ужас маленьких детей. Нос, брови, волосы, – все одним взмахом поднялось вверх и стало дыбом. Маленькая, сутуловатая фигура, бледное лицо, выставленное из старого коричневого платка, круглые близорукие глаза, темные, точно дырки, брови вразлет и маленькая складка, мучительно дрожащая над левою бровью, острая борода по-мефистофельски, заканчивающая это круглое, грустное лицо, огромный трагический лоб и волосы, поднимающиеся дыбом с затылка, – все это парадоксальное сочетание линий придает его лицу нечто мучительное и притягательное, от чего нельзя избавиться, как от загадки, которую необходимо разрешить».

Другой собрат Ремизова, П. Кожевников, как-то описывал кабинет Ремизова – скорее какой-то музей апокрифа и сказки, уголок археолога более, чем кабинет литератора.

Вот на столе сучок с наростом, напоминающий фантастическую харю. Вот рядом леший Доримедошка, – лохматое существо на тонких ногах с мордой, в роде конской, – капризная игрушка с какой-то выставки. Вот другая игрушка – Змея-Скоропея (скорпион) с красной разинутой пастью, из которой капает яд. Вот еще «Заяц малиновые усы», «Олень-Оленюшка» из Лапландии, фарфоровая «Свинка-брюхатка», «Заяц-одноух», бог «Коловертыш», ведьмин помощник, «Зверь-Вындрик», «Лунь-птица», а еще дальше красноглазая птица «Строфиль», которая молится Богу за морем....

На описание этого причудливого кабинета литературному собрату Ремизова понадобился целый фельетон. Для нас довольно этих подробностей. Они характерны. Конечно, нет никаких поводов заподозрить Ремизова в оригинальничании или рекламных соображениях. В биографии его нет решительно ничего, что поддерживало бы возможность таких упреков.

Не может быть никакого сомнения, что Ремизов искренно любит все это, что эта своеобразная коллекция – его маленькая страсть, что от этих образов Зайцев, малиновых усов или Вындриков и Доремидошек заряжается его фантазия.

Ремизов органически врос в русскую мифологию, в русскую мистику. В одном вынужденном письме в редакцию, освещая основы своего писательства, он прямо заявлял, что считает своей задачей воссоздание русского народного мифа, что на самый труд свой он смотрит не как на нечто самостоятельное, но как на опыты одного в громадном коллективном, преемственном творчестве целого ряда поколений.

Мировоззрение Ремизова, действительно, вышло из поэтической народной сказки, из деревенского суеверия. Как на других влияли Пушкины, Гоголи, Байроны, так на него действовали, его покоряли и увлекали всевозможные сборники сказок, легенд, преданий, громоздкие томы изданий академии наук или географических и этнографических обществ.

В этой области Ремизов – такой редкий знаток и такой страстный любитель, что, не будь у нас бездны между вольным литературством и

патентовано-учеными учреждениями, он, конечно, заслуживал бы степени магистра «чести ради» в гораздо большей степени, чем десятки приват-доцентов. Авторитеты, которые познакомились бы с его книгами, могли бы искренно пожалеть, какой старательный, добросовестный и страстный ученый погиб в этом литераторе.

Две книги Ремизова «Посолонь» и «Лимонарь», где собраны подделки и пересказы народных легенд и сказок, – может быть, самые законченные, самые стильные и самые ценные книги Ремизова, из которых даже неспециалист может видеть прямо блистательное знание им русского мифа и чувство народно-русского стиля.

(Окончание следует).

Бесовские арабески
(Литературный портрет А. Ремизова).
(Окончание)

VI.

Но когда писатель вносит свои симпатии к сказке, к мистике в обычный рассказ, рассчитанный на читателя не специального, он иногда способен оставить в вас впечатление прямо недоуменное. Вы читаете и не знаете, как, собственно, отнестись к рассказу. Что это, – явная выдумка, с каким-то, может быть, сатирическим намеком, или преподносимый всерьез загадочный случай из действительности? Вот герой «Жертвы», чудак и балагур помещик Бородин. Он – весельчак и шутник, и «стоит ему раскрыть рот, хохот уже не умолкает». Но с самых первых страниц рассказа вы поражаетесь дикой и странно звучащей в таком веселом человеке чертой. У него страсть резать кур «не хуже заправского повара». Мало этого – «еще он любил посмотреть на покойника, и, чем отвратительнее было лицо мертвого, чем сильнее чувствовалось разложение, тем находил он покойника привлекательнее».

Ремизов прибавляет даже такую, почти уже невероятную, подробность: «Всякий раз, когда на селе умирали, батюшка давал знать Бородиным, тотчас закладывался экипаж, и Петр Николаевич летел к тому месту или к тому дому, где случался покойник».

Читаете вы рассказ дальше и с недоумением убеждаетесь, что перед вами прямо не человек, а какой-то вурдалак. Смерть окружает Бородина, ходит по его пятам. Кругом его все мрет, кончает с собою. Умер сын Миша, повесилась дочь Лида, умерла от тифа Зина, захворала дочь Соня. Соседи кругом говорят, что в доме Бородиных дело нечисто. Читателю, между прочим, дается указание на то, что однажды под влиянием тревожного сна Бородина-жена мысленно помолилась, чтоб Бог лучше взял троих ее детей, чем мужа.

И вот, когда Соня при смерти, заболевает и сам Бородин. Тайнственно просит он своего слугу принести ему петуха и режет его. Ему мало этой крови, и он говорит слуге: «Хорошо бы, Михей, покойничка посмотреть!» Страшный

старик идет в спальню к больной дочери. Измазанный кровью петуха, он тянется к ней, шепча – «куронька, курочка!»

«Лебязья шейка, – рассказывает Ремизов, – в луче лампадки еще больше вытянулась под сверкнувшим ножом. Один миг, и вишневым ожерельем сдавило бы лебедь, но он уж не мог, силы оставили, нет спасенья. Нож выскользнул из рук и вместе со склизкой кожей, отделившейся от пальцев, упал на ковер»...

Все это очень необыкновенно и сумбурно, но Ремизову этого мало, и последняя деталь рассказа перебрасывает читателя прямо-таки в область московских салаевских рассказов о Громобоях и вурдалаках.

«Старик, дрогнув, присел на корточки, весь осунулся, все в нем – нос, рот, уши, – все собралось в жирные складки и, пuffedнув, поплыло. И плыла липкая кашица, чисто очищая от дряни белые кости».

А дом, оказалось, сгорел.

Спиноза с Аристотелем не уяснят, что хотел сказать Ремизов этим рассказом. Пустое место остается после его прочтения. При чем реальная хватка жизни, отличающая все рассказы Ремизова, и, в частности, «Жертву», когда рассказ так откровенно в финале своем впадает в тона рассказов «не любо не слушай, а врать не мешай»?

VII.

Область сказочного, фантастического, мистического, сонного полонила Ремизова навсегда. Он положительно не владеет собой, когда соблазн уклонения в эту область мелькнет перед ним! Самые трезво-реальные страницы он готов прорезать таким клином.

Он любит описывать сны своих героев, главных и второстепенных, так часто, что это поражает, как странность, и почти надоедает. В третьем томе его сочинений есть целый отдел тщательно им записанных снов, нестройных, спутанных, капризных. Рекомендую благосклонному читателю эти «перепутанные, пересыпанные глупостями рассказы», он сам считает долгом предупредить, что это – не плод фантазии, а просто «безыскусное описание подлинных ночных приключений».

В этих набросках он иногда недурно ловит вопиющую бессмыслицу снов, их дикую логику, их странную разрозненность и связность.

Но прочитайте более 50-ти страниц этих диких видений, где Австралия мешается с Маросейкой, Африка – с Летним садом, а сам сновидец представляет себя то тигром древнего города, то покойником, притащенным от Покрова после отпевания, то человеком, намеренно вымазавшимся в клеесиндетиконе («Снял я с себя пиджак и все до рубахи, взял синдетикон, обмазался им, как следует, лег на пол и давай кататься») – и вы станете перед совершенно неразрешимым недоумением.

В какой час ослепления беллетрист мог принять мысль огласить, как литературное произведение, причудливые записи своих диких снов! В дневниках и мемуарах умных людей иногда попадаются подобные записи (они поражают, например, своей численностью в интересном дневнике Порфирия

Успенского). Но как могло это случиться с писателем, который не должен бросать печатной строки на ветер и знать, что читатель, – что бы там ни было, – требует от него прежде всего интереса. Это, очевидно, в Ремизове одно из тех чудачеств, которых у него не занимать стать.

Читатель видит, что это уже пошла поистине поприщинская литература. В этом именно жанре пишутся произведения в палатах № 6, время от времени из больничных тетрадей выносимых на свет Божий. Полное собрание таких сочинений может, конечно, потребовать уже не семи, а 37-ми томов. Все это, разумеется, должно отпасть со временем от Ремизова, как шелуха. Если бы Ремизов сводился весь к таким произведениям, говорить о нем, конечно, не повернулся бы язык...

VIII.

Статические способности Ремизова и почти полное его бессилие создавать движение в рассказе, давать психологию действия, сказывается и в лучших его вещах. К таким бесспорно надо отнести большую повесть «Неуемный бубен».

Хорошая записная книжка, всегдашнее умение схватывать характерные мелочи из жизни – здесь у Ремизова налицо. Он опишет вам какие-нибудь картинки на стене, так что вы почувствуете, что каждую картинку, каждую икону он действительно где-то видел. Он подаст вам книжную полочку так, что вы узнаете на ней всякую книжку. Он процитирует такие песенки, над которыми вы действительно улыбнетесь, и это будут свои, ремизовские, им подмеченные, а не шаблонные песенки. Факты газетной хроники просыплются перед вами в несдержанном количестве, и все это будут характерные факты для русской провинции, где человек, действительно, может держать пари на то, что выпьет за один присест 50 чашек чаю, и умрет на сороковой и где любитель сквернословия может за один дух прочесть целиком наизусть всю Гавриладию.

Словом, мелкого факта, колоритных черточек, цветных камешков хоть отбавляй. Существование сластолюбивого старикашки Стратилатова, любителя клубнички, покупающего себе на старости лет почти девочку-модистку «на предмет наслаждения» – выписано так, что вы видите этого мелкого сладострастника во всех поворотах. Тут есть что-то от нашей старой школы, от Гончарова, от недавно умершего Альбова, в своих, разумеется, пропорциях.

Но Ремизов прямо изнуряет этими подробностями. И он вдруг странно пасует там, где от описания установившихся положений ему надо перейти в область живого действия. Странно нечувствительный к своим ошибкам, он обходит самые интересные психологические положения. Не жалеющий страниц при описаниях, он жалеет строки там, где должен давать движение. О входе в дом Стратилова молодой любовницы, об ее уходе из этого – о самом интересном в рассказе, – он говорит бегло, торопливо, точно ему некогда.

IX.

«Неуемный бубен» вместе с «Крестовыми сестрами» все-таки является показанием того высшего полета, на какой способен Ремизов. Мастерство кропотливого схватывания мелочей жизни здесь проявилось в той силе, которая закрепляет за читателем признание его талантливости. Но творчество заново из ничего, но синтез творчества – ему недоступны. Его Стратилатов, в конце концов, – помесь Карамазова, Смердякова и, пожалуй, Передонова. В «Крестовых сестрах» он весь вышел из Достоевского и весь в него ушел.

Мрачный взгляд на жизнь, страшный, почти мистический испуг перед жизнью – вот философия Ремизова. Это – не пессимизм реалиста, который знает, что в жизни все просто и все скверно. Ремизов окутан какими-то неясными, жуткими, мистическими настроениями. Какое-то колдовство, какие-то чары нечистой силы точно чудятся ему, как Передонову, повсюду. Человечье лицо складывается для него порой, как лицо вурдалака, и он готов поверить верой темного мужика, что человек может вдруг расплыться в зловонный кошмар.

Все для него в мире спутано и темно. В «Суде Божьем» монах, пришедший на свадьбу, видит невидимый всем остальным гроб посреди церкви. На глазах этого монаха молодые люди соединяются не на радость и жизнь, а на смерть, и, однако, монах чувствует, что так должно быть, и ничего другого нельзя сделать. Последний вывод Маракулина в «Крестовых сестрах» от созерцания жизни тот, что «никого обвиновать нельзя», хотя человеческая жизнь есть сплошной и жуткий ужас.

Странные больные, точно помешанные люди проходят в книгах Ремизова. Мальчик Костя в его «Часах», это – чистый Передонов в юности. Все сложное, спутанное, мутное, извращенное, что есть в Передонове, уже дано в Косте, вплоть до маньяческого бреда величия, превращающего на последней странице Костю Клочкова в Костю Саваофа.

Этот юноша, собирающий в таинственную коробочку человеческих и собачьих блох и потом выпускающий их там, где ему нравится, разве не обещает, выросши взрослым, превратиться в самую настоящую свинью передоновского типа?

А разве не таков Павлушка в рассказе «Слоненок», этот моллюск на человеческих ногах, во время великого славословия готовый продать свою душу чорту, намеренно нюхающий отвратительный запах ассенизационной бочки, чтобы «надышаться мерзостью».

Во всей своей капризности, при всех своих самых бесспорных чудачествах, Ремизов остается любопытной фигурой современного литературного подворья. Ближе других в своем болезненном изломе он подходит к Сологубу. Что внесет время в этот образ, – приблизит ли его к нормам здорового, реального таланта, или, наоборот, увлечет его в сторону болезненного уклона и новых причуд, может быть, в истинную болезнь, – сказать трудно. Кажется, шансы за второй исход еще более значительны.